

Н. Г. Колошук
(г. Луцк)

**«Свои» и «чужие» в романе И. Сельвинского «О, юность моя!»
(имагологический аспект)**

Аннотация

Н. Г. Колошук. «Свои» и «чужие» в романе И. Сельвинского «О, юность моя!» (имагологический аспект).

В статье представлен анализ этноимагологических характеристик, которые даны в романе И. Сельвинского его многочисленным персонажам и главному автобиографическому герою. Цель – выявить особенности стоящей за ними авторской идентичности, определить параметры ценностей в невидимой шкале «Свой – Чужой», которая является важнейшей проблемой мировоззрения человека в переломную эпоху, требующую трудного выбора.

Ключевые слова: этноимагология, оппозиция Свой – Чужой, автобиографический роман И. Сельвинского, идентичность, национальное самосознание.

Анотація

Н. Г. Колошук. «Свої» та «чужі» в романі І. Сельвінського «О, юність моя!» (імагологічний аспект).

У статті подано аналіз етноімагологічних характеристик, котрі в романі І. Сельвінського представляють його численних персонажів та головного автобіографічного героя. Мета – виявити особливості авторської ідентичності, що стоїть за ними, визначити параметри цінностей у невидимій шкалі «Свій – Чужий», котра є найвагомішою проблемою світогляду індивіда переломної доби, оскільки ставить його перед необхідністю важкого вибору

Ключові слова: етноімагологія, опозиція Свій – Чужий, автобіографічний роман І. Сельвінського, ідентичність, національна самосвідомість.

Summary

N. G. Koloshuk. «Friends» and «foes» in the novel by I. Selvinskyi «Oh, my youth!» (imagological aspect).

The article deals with the analysis of the ethnoimagological characteristics which represent the numerous characters and the main autobiographical hero in the novel by I. Selvinskyi. The purpose of the article is to reveal the peculiarities of the author's ethnoidentity which is the most important problem of the individual world-view of the period of change that demands a difficult choice.

Keywords: ethnoimagology, the opposition «Friend or Foe», the autobiographical novel by I. Selvinskyi, the author's ethnoidentity, national self-consciousness.

Эпоха нарождается при мне.

Мне двадцать лет. Вся жизнь моя – начало.

И. Сельвинский, из венка сонетов «Юность». Симферополь, 1920

Постановка проблемы. Благодаря новейшей философии диалога, активно разрабатываемой мыслителями XX века (Мартин Бубер, Михаил Бахтин, Юрген Хабермас, Эммануэль Левинас, Юлия Кристева, Чарльз Тейлор и др. [см.: 2; 5; 8]), в сравнительном литературоведении более полувека назад выделилось особое направление – этноимагология – неотъемлемая часть компаративистских студий, поскольку литература (особенно мемуарная и автобиографическая проза, сосредоточенная на авторском самоанализе) даёт ценный материал для анализа образа Чужака наравне с образом Своего / образом Я. Согласно философии диалога, человеческая аутентичность имеет смысл лишь в сообществе, поскольку личная идентификация базируется на признании тех или иных отличий в пределах более широкой системы ценностей.

Самоидентификация одного из выдающихся русских поэтов-новаторов XX века Ильи Сельвинского исключительно сложна и до сих пор не была отдельным предметом специального изучения. Будучи русскоязычным представителем почти исчезнувшего в середине XX столетия народа крымчаков, атеистом и советским патриотом по убеждению, Сельвинский никогда не отрекался от своих корней, гордился ими и не однажды подчёркивал это, но в эпоху декларированного «пролетарского интернационализма» и нещадного нивелирования национальных культур, лютого преследования всевозможных «буржуазных национализмов» и «космополитизма» (читай: истребления национально сознательной интеллигенции всех народов СССР), во времена подспудной русификации за ширмой лицемерного «единства советского народа» любой национальный или «местный» патриотизм вызывал разве что раздражение.

Начиная с разгрома конструктивистов в 1930-1932 гг., Сельвинского регулярно подвергали гонениям; во времена позорной антисемитской кампании конца 1940-х – начала 1950-х гг. его зачислили к «космополитам» и до сих пор представляют выходцем из «еврейской семьи» [см.: 14], хотя это искажает представление о поэте. Крымчаки издревле принадлежали к иудаизму [см.: 6];

как родительская, так и собственная семья и окружение Сельвинского связаны с еврейством, но авторская этноидентичность в его произведениях всё же другая, он сопричастен и другим народам, среди которых жил и которых искренне любил. Его творчество в советское время не раз претерпевало бури несправедливой критики, всё время казалось кому-то недостаточно «советским», будучи истолковано искажённо и предвзято.

Анализ последних исследований и публикаций. Указанные философские труды представителей феноменологии и постструктуралистских концепций, разрабатывающих проблему Свой – Чужой, являются **методологической основой** нашего исследования. Что касается литературоведческих работ, то уровень освоенности наследия Сельвинского в современной русистике явно не соответствует ни масштабам, объёму этого наследия, ни уровню таланта [см.: 7; а также во вступительной статье Л. Озерова «Илья Сельвинский, его труды и дни»: 12, с. 5-6]. В своё время Сельвинский заслуженно был одним из «мэтров» советской поэзии, любим и знаменит [см.: 9, с. 66, 110, 116, 329 и др.], хотя и записывал в дневнике: «Я существую в советской литературе очень рано и всё же... в порядке исключения» [цит. по статье Л. Озерова: 12, с. 5]. После его ухода многое из созданного им остаётся не то что неизученным, но даже неизданным (в частности дневники и письма – неоценимый материал для исследователей). Ещё при жизни поэта вышла монография о нём (до сих пор, насколько нам известно, остающаяся единственной), написанная его многолетним другом и критиком Осипом Резником, в третий раз переизданная в 1981 г. [10]; о национальном самосознании поэта в ней говорится вскользь, в обтекаемой форме (собственно, не ставится под сомнение, что это русское самосознание, – вполне в соответствии с советскими официозными установками), подробно исследуется только русская составляющая национальных традиций, из которых он вышел.

В последующие годы в исторической перспективе советской литературы Сельвинский был отодвинут на второй план: в современных вузовских

учебниках его известнейшие произведения лишь упомянуты как образцы авангардного конструктивизма 1920-х гг. [см., напр.: 11, с. 396]. Статьи или интервью о нём появляются изредка [к примеру: 7; 16]. Таким образом, исследования, представляемые на его родине, в Крыму (в рамках регулярных конференций, проводимых в Симферополе Домом-музеем И. Л. Сельвинского с 1999 года, – «Крымских Международных научных чтений И. Л. Сельвинского»), остались, по существу, единственным каналом живой связи с наследием поэта, поневоле ставшего заложником эпохи, в которой жил.

Поэт как бы предчувствовал это: своё единственное крупное беллетристическое произведение – роман «О, юность моя!» (законченный в 1964-м) – он посвятил своей молодости и малой родине – Крыму. Формальное посвящение отсутствует, но роман заканчивается короткой неожиданной фразой – обрывая только что показанные драматические события бегства белоэмигрантов из Крыма перед наступающей Красной армией, она звучит красноречивым диссонансом – единственная фраза в последнем абзаце, после пробела: «*В это время я жил*» [с. 518].¹ Она переворачивает ракурс «объективного» авторского повествования (от третьего лица – к первому) и, переключаясь с названием и возвращая к нему, сообщает тексту задушевно-личную интонацию исповеди. А Крым является не просто местом действия (из всего богатого событиями, путешествиями, встречами жизненного пути автор показал несколько лет юности своего героя-двойника, прожитые в Евпатории и других местах Крыма накануне установления советской власти), но и самостоятельным образом малой родины, которую Сельвинский всегда считал важнейшим истоком своего творчества.

Роман не был предметом специального анализа в этноимагологическом ракурсе, хотя близкие к нашей теме исследования (то есть касающиеся романа, всей прозы и биографии Сельвинского в каком-либо ракурсе) были напечатаны в сборниках упомянутых научных чтений («И. Л. Сельвинский и литературный процесс XX века», Симферополь, 2000; «Вестник Крымских чтений

¹ Здесь и далее ссылки на страницы текста романа поданы по прижизненному изданию [13].

И. Л. Сельвинского», вып. 1-6, Симферополь, 2002-2009): это статьи Н. В. Яблоновской и А. А. Бачинской (2000 г.), В. Л. Гаврилюк и М. А. Новиковой (2003 г.), И. А. Добровольской и В. К. Катиной (2004 г.), Н. Ю. Бакши (2008 г.), Л. Л. Никифоровой и Л. А. Рустемовой (2009 г.) и др. В указанной монографии О. Резника роман рассмотрен довольно поверхностно и тенденциозно: главной темой критик считал приход героя и подобных ему «переходников» «в революцию», осложнённый «стихийничеством и однолинейным восприятием гуманизма, заёмной путаницей этических и эстетических воззрений» [см.: 10, с. 333, 336].

Задачей нашего исследования является анализ этноимагологических характеристик, которые даны в романе главному автобиографическому герою и многочисленным эпизодическим персонажам. **Цель** – выявить особенности стоящей за ними авторской идентичности, определить параметры ценностей в невидимой шкале «Свой – Чужой», которая является важнейшей проблемой мировоззрения человека в переломную эпоху, требующую трудного выбора. Чтобы понять творчество выдающегося поэта, такой анализ необходим.

Изложение основного материала. Роман «О, юность моя!» очень густо «населён»: в нём идет речь о десятках персонажей – эпизодических или представленных шире и полнее; почти всегда указаны их национальная или социальная принадлежность, или та и другая. Главный герой представлен как русский юноша Леська (Елисей) Бредихин – юный гимназист-сирота из рыбацкой и рабочей семьи потомственных крымчан. На страницах живут и встречаются с главным героем русские и «малороссы», евреи и татары, немцы-колонисты и кочевники-цыгане, греки и латыши, звучит русская, украинская, цыганская речь и песни, говорят по-татарски и по-караимски, с упоением пляшут греческий танец... Упоминание о крымчаках встречается в тексте лишь однажды и только в мыслях главного героя.

Этнически пёстрая картина предреволюционного Крыма колоритна и внешне мирная: межэтнические различия не мешают людям уживаться в маленькой Евпатории, где начинается сюжетное действие. Власть и этническая

принадлежность, как и сложившиеся социальные отношения, воспринимаются ещё по-старому, хотя после февральской революции Крым объявил независимость. Например, о своём чувстве к крымской татарке Гульнаре семнадцатилетний Леська думает как о запретном: *«Нет, о ней думать нельзя: ей ведь всего четырнадцать лет. Впрочем, на Кавказе девочкам разрешается выходить замуж даже в тринадцать. А мы Крым. Соседи. К тому же она татарка. <...> Нет-нет, думать о ней нельзя. Всё-таки мы Россия»* [с. 18], – имея в виду различие обычаев мусульманской и своей среды. Но их разлучит новая реальность: скоро мирную жизнь городка, *«объятого синевой»* [с. 11] и окутанного звуками морского прибоя (*«Город окутывался шелковистым шелестом, если было лето, или зубовным скрежетом, если зима»* [с. 7]), захлестнут мутные волны гражданской войны. И Леська с Гульнаркой прощаются навсегда и довольно холодно – богатые родители увезут девочку в Турцию, вроде бы предназначая в жёны какому-то неведомому турецкому принцу.

В старом Крыму дети евпаторийцев вместе учились в гимназии (отдельно – в мужской и женской), танцевали на гимназических балах, дружили со сверстниками, единой гимназической командой соревновались в гребле с другими экипажами крымских яхт и не были расположены к столкновениям на этнической почве: ближайшими друзьями Елисея были еврей Самсон Гринбах из семьи адвоката-эсдека, сын русского миллионера Володя Шокарев, сын корабельного мастера Артур Видакас, грек Улисс Канаки и другие. Среди этой молодёжи само собой разумелось, что надо заступаться за своих – одноклассников, евпаторийцев, земляков. Они узнавали друг друга по характерным евпаторийским словечкам (*«Авелла!»* – как приветствие, *«Мир праху»* – вместо прощания, *«Пеламиды»* и проч.), даже по выговору [с. 71], и это чувство землячества впоследствии не однажды выручило Леську в трудную минуту. Но с момента начала действия (весна – лето 1917 года) подспудное политическое брожение, набирая обороты, приводит к необратимым переменам: татарская верхушка собирается объединять Крым с Турцией, евреи

боятся очередного погрома, деникинцы планируют и осуществляют «Варфоломеевскую ночь», убивая подпольщиков-большевиков и просто всех подозрительных, большевики пропагандируют за «экспроприацию экспроприаторов» и т. д. В продолжение трёх с половиной лет сюжетного действия различные власти и безвластие сменяются несколько раз, причём в Евпатории может быть одна власть, а в Симферополе – другая. Леська за это время попадёт и на фронт, и к партизанам, к анархистам и «красным», в госпиталь и в тюрьму... Роман состоит из сочно и ярко выписанных эпизодов, которые память писателя, видимо, сохранила с юности – они кажутся удивительно достоверными.

Автор показал человеческую солидарность мирных провинциалов: когда богатый владелец виллы – предводитель уездного евпаторийского дворянства Сеид-бей Булатов – руками цыгана Девлетки сжигает хату нежелательного соседа-рыбака Петропалыча, Леськиного деда, «разноплеменные» одноклассники Елисея искренне сочувствуют товарищу и стараются помочь построить новое жилище. Но умудрённый житейским опытом Петропалыч уже видит в них будущих врагов: *«Эх, мальчики, мальчики! Пока вы дети, у вас золотые сердца, а вырастете, всё равно собаками станете»* [с. 55].

Чем напряжённее становится сюжетное действие, тем больше накапливается деталей, свидетельствующих о том, что политическая ситуация взрывоопасна и есть немало готовых спровоцировать взрыв в любой момент – для нынешних времён такой роман о Крыме исключительно актуален! Действие заканчивается победой большевиков, но каковы плоды победы и её последствия для обычных крымчан – уже не показано. А вот каково лицо гражданской войны – видно очень хорошо.

Увидев труп прокурора Листикова – отца своего гимназического товарища Саши по прозвищу Двадцать Тысяч, – Леська смятенно думает, как бы споря с воображаемыми оппонентами, требующими от него беспрекословного исполнения безапелляционных «революционных» приговоров: *«Я не хочу этого! Эпоха? Пусть. Революция? Преклоняюсь. Но*

этого я не хочу. Понимаете? Не хочу – и всё тут! Мне это противно, омерзительно. Буду картошку чистить. Подштанники вам стирать. Что хотите! Но это – нет! Пускай матросы, пускай Петриченко, если им так хочется. Но не я. Только не я!» [с. 93]. Нормальная человеческая реакция на вид насильственной смерти? Но в том времени и обществе, в котором входило во взрослую жизнь поколение Сельвинского, она усилиями по разные стороны баррикад целеустремлённо превращалась в ненормальную – в проявление позорной слабости, безыдейности – «бесхребетности». Не случайна ведь критическая оценка О. Резника: у молодых героев романа – «идейный сумбур в голове» [10, с. 334].

Показателем разницы между Леськиной, то есть нормальной общечеловеческой моралью, и некоей «новой», «революционной», является образ Самсона Гринбаха – этот персонаж претерпевает в романе поразительную эволюцию. Вначале – ближайший Леськин гимназический товарищ, справедливо признаваемый сверстниками самым умным и способным, но в общей социальной структуре – изгой. Даже командовать гимназическим экипажем яхты на спортивных соревнованиях его не допускают. *«Но ведь он еврей»* [с. 29], – этой формулой гимназический преподаватель объясняет Леське решение педагогического совета как нечто общепринятое. Леськин бунт (будучи назначен капитаном вместо Гринбаха, Бредихин во время соревнований мешает команде одержать заслуженную победу) не одобряют почти все друзья-одноклассники, кроме Володи Шокарева. По мнению сочувствующего Володи, чтобы Симка мог быть капитаном, как он того заслуживает, есть простой выход: *«Ну что же, он крестится. <...> Он убеждённый атеист, и ему всё равно, что там в паспорте написано»* [с. 31]. Сам Симка Гринбах воспринимает то, что *«в капитаны евреев не пускают»* [там же], как и прочие несправедливости в гимназии, с видимым спокойствием: на соревнования просто не приходит, на уроках в отличники не рвётся – всё равно «срежут». Зато с приходом революционного времени он единственный из

Леськиных друзей становится видным большевиком, остальные либо гибнут, либо вынуждены эмигрировать.

Дороги друзей разойдутся: Гринбах станет комиссаром красногвардейского отряда и на *«толстовца»* и *«непротивленца»* Бредихина будет смотреть с недоверием и свысока [с. 119]. Да ещё и обоснует свою позицию «идейно»: *«Думаю, что я идея. Не хочу в себе ничего человеческого. С корнем вырываю! Ненавижу это в себе! Благодарность, снисходительность, милосердие – всё это не для пролетариата. Потом, потом! Когда-нибудь!»* [с. 137]. Леське это неприемлемо, но он понимает и другую – одобрительную точку зрения (высказанную русским анархистом, да ещё из бывших старообрядцев!): *«Человек он [то есть Гринбах – Н. К.] зарный, себя не жалеет, всё только об революции мечтает. Что на него серчать? Дай боже всем нам вот эдак. Мы их, явреев, били, погромы устраивали, а они вон каковы оказались на поверку»* [там же]. Самому Леське бывший товарищ в новой роли хоть и симпатичен, но... чужой.

В следующей главе автор-повествователь объясняет особую «революционность» Гринбаха и его соплеменников тем, что у талантливых евреев в царской России долго отбирали возможность свободного развития, *«романтику»* роста *«в высоту»*, вот она и стала *«извиваться в узлы и петли»*. И даже знаменитую одесскую уголовщину с еврейским лицом – Мотькэ Малхамовес (герой знаменитого одноименного стихотворения Сельвинского, созданного в 1923 г.), Беня Крик, Филька-анархист – объясняет *«великолепным уродством царской национальной политики»* [с. 138]. Одним словом: *«Октябрь сдул с России все рогатки, барьеры, провололочные заграждения. Россия ста народов хлынула в революцию»* [там же].

В Елисее Бредихине многое напоминает самого Сельвинского в юности: детали бедственного быта семьи, обстоятельства гимназической учёбы, подробности скитаний и смены занятий в поисках куска хлеба, участия в политической борьбе и двух арестов, попытки примкнуть к подпольному большевистскому движению и авантюрные приключения, юношеские

чувственные увлечения и влюблённости, пристрастие к спорту – гребле, борьбе, гимнастике, боксу, увлечения музыкой, литературой и т. д. (об этом свидетельствует любое жизнеописание поэта, начиная с его автобиографий [напр.: 1] и заканчивая справками в энциклопедиях и современных электронных сайтах [14; 15], а также воспоминания о нём [9]). Многие другие персонажи имеют реальных прототипов и даже реальные имена, не говоря уж о реальной подоплёке всех описанных событий в родном городе Евпатории в период между февральской революцией 1917 г. и окончанием гражданской войны в Крыму в ноябре 1920 г.: и люди, и события воспроизведены «почти с документальной точностью» [4].

Правда, главные политические события в бывшей империи обошли Крым и Леську Бредихина стороной: *«Завоевание власти пролетариатом прошло для Леськи незамеченным. Он не знал, что вся его жизнь отныне пойдёт по новым рельсам. <...> Бой за Зимний дворец, образование Советского правительства во главе с Лениным, декреты о мире и земле – все эти события не коснулись Елисея»* [с. 43]. А так ли уж много людей в своё время их заметили? Ведь телевидения не было... Как не вспомнить Маяковского: *«Дул, / как всегда, / октябрь / ветрами. / Рельсы / по мосту / вымев, / гонку / свою / продолжали трамы / уже – / при социализме»* (поэма «Хорошо!»). Так что и в этом нюансе образа своего времени Сельвинский правдив.

Но главное, что роднит реального автора с выдуманном героем, – это взгляд на происходящее в революции и гражданской войне. Если он и признаёт абстрактную *«огромную справедливость революции, охватившей судьбы миллионов»* [с. 136], то не может принять конкретные уродливые проявления *«новой морали»*. Его Леська так и не смиряется с необходимостью убийства, грабежа, насилия не только над людьми – чужими или знакомыми, но и над животными – в первом же бою боится попасть из пулемёта в лошадей, никак не может забыть об ограбленных цыганах, которые сами обворовали китайца (Леська узнаёт на Тине Капитоновой Настины сапожки, и его беспокоит судьба хозяйки), а китайцу Ван Ли рад, как брату, поскольку не чаял увидеть его

живым. Убегая от посадившего его под замок Алим-бея Булатова, думает, как предотвратить наказание для татарина-часового, которого за побег арестанта могут расстрелять. То, что для других допустимо, вызывает у него отвращение: тупая хамоватая *«полуинтеллигентщина»* в лице белого прапорщика Кавуна [с. 312] или красного партизана Воронова [с. 493], расчётливость и корыстолюбие крестьянина Сизова или миллионеров отца и сына Шокаревых, цинизм соучеников Саши Листикова и Эдуарда Визау, примитивная нравственная нечистоплотность Тины (под видом *«новой морали»*: *«Совесть у меня чистая. Я вернула себе своё»* [с. 113]; *«При коммунизме все так жить будут. Ведь всё равно любви на свете не бывает»* [с. 115]). Захваченный идеей коммунизма, он считает нужным спорить о ней, а не насаждать её насильно; как говорит симпатичный ему старик Беспрозванный, *«там, где нет инакомыслия, нет и движения вперёд»* [с. 310].

Читать роман как документ и приписывать каждому заявлению автора-повествователя или героев буквальный смысл было бы грубой ошибкой, но в тексте безусловно есть подлинное свидетельство эпохи, обусловленное природой художественного мышления: там, где историк был бы точен в фактах, датах и прочем, художник правдив, поскольку мыслит образами. Природа творчества во многом интуитивна, подсознательна, то есть художник говорит не только то, что думает, но и *«проговаривается»* о том, что скрыто в подсознании, имеющем, как известно, почву в коллективном бессознательном. Художническая картина, контролируемая сознанием, может быть неполной или попросту о чём-либо умалчивать, но умолчание почти всегда можно расшифровать. Точной ли будет *«расшифровка»*, зависит уже от читательской компетенции и, главное, от желания понять художника. К примеру, как ответить на естественный вопрос, который возникает у читателя романа *«О, юность моя!»*, – почему своего автобиографического героя автор представил русским рабочим парнем? Нет ли тут подспудного желания выдать себя за того, кем, в сущности, не был? Надеть подходящую маску, чтобы обойти досадные, всю жизнь мешающие обстоятельства *«социального происхождения»* в

собственной «анкете»? Хотя бы в воображении утвердиться в том образе, каким было бы удобнее и желаннее казаться в действительности, исходя из реалий той страны и времени, в котором жил?

Не станем доказывать, что таких желаний у художника вовсе не было, – Сельвинский, как известно, был честолюбив, ревнив к славе и успеху, подчас амбициозен [см.: 9, с. 17, 88, 288, 293 и др.]. Есть в романе полустраничное «авторское отступление» (кстати, единственное во всём тексте, кроме уже комментированной финальной фразы, – от первого лица неназванного повествователя), которое подтверждает подобные предположения: после очередного соревнования с одноклассниками Леська огорчён тем, что его не хотят признать лучшим. Мальчишеское самолюбие ущемлено, и автор сочувствует герою, ассоциируя свои взрослые жизненные неудачи с его полудетскими огорчениями: *«Когда я думаю об этой схватке Бредихина с Видакасом, мне вспоминается басня... <...> Ах, Лесья, Лесья!.. Сколько раз в жизни и мне случалось в литературе класть и правые и левые руки, но всегда это не считалось...»* [с. 25].

И всё же главная причина «перелицовки» персонажа из одной национальной и «классовой» ипостаси в другую, не совпадающую с реальным прототипом, видимо, иная: не комплексы относительно собственного происхождения руководили пером Сельвинского, не желание подкорректировать «анкету» (ведь не привели они к неблагоприятному отречению от собственных корней!), а сомнения в целесообразности выносить эти комплексы «на люди» в романе, который должен был представить «типичного» современника, что по канонам социалистического реализма равнялось некоему усреднённо-образцовому воплощению «героя нашего времени». Видимо, Сельвинский искренне считал этнические отличия не определяющей почвой, а всего лишь особой красочной чертой во многочисленных представителях «советского народа» (уже в годы Великой Отечественной войны это понятие стало синонимом «русского народа»), к которому причислял и себя.

Показательным подтверждением такой метаморфозы в сознании соотечественников-современников («Вам – / Из другого поколенья – / Едва ль постичь до глубины...»), – писал А. Твардовский в поэме «По праву памяти» примерно в то же время,² что и Сельвинский – свой роман) является стихотворение, написанное в 1942 г. в действующей армии, – «России». Обращаясь к России как Родине, Сельвинский заявил: «Но в час большого испытанья / Мне крикнуть хочется: “Я твой!”». Логика тут изошрённо казуистическая, но не принять её в советские времена, особенно в годину смертельного противостояния фашизму, было невозможно, непредставимо: «...Но мы мостим прямую гать / Через всемирную тряси́ну, / И ныне воспрять Россию – / Не человечество ль принять? <...> Убить Россию – это значит / отнять надежду у Земли».³

Сравним хотя бы бегло это стихотворение с хрестоматийной лермонтовской «Родиной» (в текстах есть прямые переключки): у Лермонтова родным является обыденный, скромный, даже неприглядный облик родины, и родное принимается безо всяких доказательств («Но я люблю – за что, не знаю сам...»); у Сельвинского приятие России требует ораторского убеждения, выражено как доказательство самому себе и *urbi et orbi*. Каждая торжественная, точёная 8-строчная строфа (их одиннадцать!) – отдельный аргумент в целом ряду эмоциональных призывов *ad hominem*: «Я твой... Люблю... Люблю... Люблю... За одно за это / Тебя нельзя не полюбить». Главными приметам Родины-России становятся экзотические детали-образы: «Люблю, Россия, твой пейзаж: / Твои курганы печенежьи, / Станухи белых побережий, / Оранжевый на синем пляж, / Кровавый мех лесной зари, / Олений бой, тюленьи игры, / И в кедраче над Уссури / Шаманскую личину тигра». И т. п.

Этот вариант на тему ставшего официозным мотива «широка страна моя родная» – не действительная Россия «изнутри», как у Лермонтова, а Россия «извне», воплощение коллективно создаваемого многими советскими поэтами

² Метаморфоза произошла не только с Сельвинским – она очевидна, например, в творчестве многих украинских советских писателей; чтобы в этом убедиться, достаточно почитать военные дневники Олеса Гончара.

³ Стихи Сельвинского цитируем по материалам электронного собрания на сайте «Лучшие русские поэты и стихи» [3].

мифа могущественной Родины-матери, готовой принять и защитить всех верных сыновей. Сельвинский не избежал горьких разочарований в этом мифе, о них свидетельствуют многие стихи последних десятилетий: *«Ах, Россия, край великой правды / В мириадах маленьких неправд»* («В часы бессонницы», 1952). И сатирически-едкая эпиграмма: *«Чтобы быть российским писателем, / Большое здор-ровье надо иметь»* («Союз писателей», 1956). И полузадушенные признания: *«Как жутко в нашей стороне...»* («В минуту отчаянья», 1957). И безнадежно-горькие итоги собственной жизни и жизни страны: *«Ты затонула, как Атлантида, / Республика Ленина, юность моя»* («Andante», 1959; кстати: чем не эпиграф к роману «О, юность моя!»?); *«(А Русь, / в поту перемыта, / Влачит немое житьё.) / Коммуна не пирамида: / Рабам не построить её»* («Империи были с орлами...», 1963).

Вследствие указанной метаморфозы, облик молодого современника, идущего в революцию, не вполне автобиографичен, но зато соответствует жанровым параметрам: Сельвинский писал не автобиографический очерк и не воспоминания, а беллетристический роман о «времени, в котором жил». Похожий на автора Леська Бредихин – вовсе не образцово-показательный герой пролетарской революции, а сомневающийся, ищущий, увлекающийся интеллигентный юноша, даже «анархист», каким называли в молодости его создателя [см.: 9, с. 22]. Сельвинский, по-видимому, не считал это недостатком для поэта: «Я нужен коммунизму такой, как есть, – в “дебрях, огнях и тиграх”, ибо во имя этих “огней”, цветенья человека идёт борьба», – вспоминал его слова соратник по ЛЦК (Литературный центр конструктивизма) К. Л. Зелинский [9, с. 15]. Но крамольные мысли о демократии, как и поздние не пропущенные цензурой стихи, и стихи молодого Сельвинского, написанные с 1915 г. (в том числе в тюрьме, где дважды за короткое время побывал его Леська Бредихин), в романе приписаны старому поэту-чудаку Акиму Васильичу Беспрозванному, с которым Леську несколько раз сводила судьба.

Видимо, именно разочарование в сегодняшнем дне России – *«могучей Совдепии»* [с. 87] – заставило художника показать свое время не в широком

эпическом полотне с историческим размахом (хотя именно эпос Сельвинский считал своим творческим призванием и целью [см.: 9, с. 20, 27, 168, 215, 258, 271, 279]), а выбрать короткий промежуток в самом начале новой эры, на переломе собственной и своего поколения жизни, которая так и не оправдала романтических надежд. Он не сказал – «это моё время», а «могучую *Совдепию*», большевизм и ленинизм показал как приходящие в Крым извне. Начиная с заглавия, роман звучал ностальгически – по отношению к собственной юности, к утраченным друзьям, бывшему Крыму. И только в самом лирическом эпизоде, где Леська, утратив всех старых друзей (погибших, уехавших, потерянных навсегда), остаётся один на один с «*песками, горами и морем*», с «*древним эллинским морем*» [с. 359], автор-повествователь вводит в размышления героя ещё один мотив крымской этнической составляющей – тот, который реальному автору был роднее всего, но он этого не говорит, поскольку говорит и думает его герой: «*Но кто же такие “крымчаки” – племя, взявшее иудейскую религию у хозар, а язык у татар? <...> Он бродил по отлогим берегам Евпатории в невидимой толпе скифов, гуннов, хозар и чувствовал себя богаче всякого, кто жил в Крыму и ничего этого не знал, не помнил, не видел*» [с. 360]. Таким образом, этническая память в понимании автора – это и есть богатство души. Его Елисей «*носил в своей груди все эти расы, нации, племена, и задолго до того, как ознакомился со взглядами партии, он уже был глубоким, органическим интернационалистом*» [там же].

А лицо революции в романе не имеет к жизни автора прямого отношения, хотя и воплощено в симпатичных ему людях – большинство из них реальны, не выдуманы: брат Ленина – врач Дмитрий Ульянов, зверски убитый беляками маляр Давид Караев, рабочие Виктор Груббе и Семён Немич и др. Показательно, что ближайших родственников автобиографического героя Сельвинский рисует не похожими на своих близких – ни родители, ни сёстры не были прототипами персонажей романа. Воплощением простонародного представления о революции становится близкий Елисею человек – родной дядя-шкипер, заменивший рано утраченного отца: «*Андрон весь дышал*

обаянием русского богатырства. И вообще – лицо его было таким русским, что в Евпатории, наполненной караимами, татарами и греками, оно казалось нестандартным до экзотики» [с. 58]. Потому Леська и вовлечён в дела подпольщиков-большевиков. Коренные крымчане революцией мало заинтересованы («...революцией греки не интересовались: ведь это у тех, там, у русских» [с. 67]), но в силу необходимости вступить за несправедливо обиженных становятся на сторону арестованного Андрона: «...дело шкипера их взволновало: во-первых, шкипер шкиперу почти родственник, а греки уже рождались шкиперами; во-вторых, так ведь и каждого можно схватить как щенка за шиворот, и бросить в острог» [с. 67]. Ещё одно примечательное высказывание о революции как о внутреннем конфликте в России принадлежит смотрителю маяка Попову. На вопросы Леськи о поведении оккупантов – французов и англичан – он резонно отвечает: «Эту публику, Антанту то есть, интересуют только коммунисты, а в остальном, господа русские, друг друга хоть режьте, хоть ешьте» [с. 258].

Представители старой власти – Российской империи (прокурор Листиков, предводитель дворянства Сеид-бей Булатов и его сын Алим – белый офицер, развязные деникинские офицеры, ведущие себя в Евпатории и Симферополе как завоеватели, и прочие) – потому и теряют расположение крымчан, что вершат произвол и насилие. Понятно, что автор время от времени пытается повернуть конфликт в «классовое» русло: например, истинная причина сопротивления большевикам и революции обнаруживает себя в поведении русского миллионера Шокарева и его сына Володи. Когда возникла угроза шокаревским владениям и имуществу, богач обращается за помощью к представителям новой крымской власти и белой армии, то есть богатые поддерживают богатых, не взирая на национальность, как и бедные способствуют приходу большевиков потому, что они бедные и сознательные рабочие – евреи (семьи слесаря Сеньки Немича и его товарища Голомба), «малороссы» (десятник Петриченко из каменоломни Шокаревых, разведчик Нечипоренко в партизанском отряде), русские Бредихины и прочие. В целом

роман должен был убедить в закономерной победе всенародно поддерживаемого большевизма. Но Сельвинский был слишком требовательным к себе художником, чтобы руководствоваться только официально утверждёнными стереотипами.

Показательно, что в восприятии главного героя интересен каждый встреченный им человек, и каждый неповторим. Особенно ярки образы женщин и девушек – почти всегда они воспринимаются романтически. Например, проехав на одной телеге рядом с *«какой-то молодой в мужском пальто и цветастом платке»*, видя её в самой прозаической ситуации (женщин везут на принудительное рытьё окопов, они дремлют в дороге), Леська *«подумал о том, что эта женщина стала ему дорогой, что он её вовеки не забудет и что в той доверчивости, с какой она, незнакомая, прильнула к нему, тоже есть что-то огромное, народное, мировое...»* [с. 134]. Народное ли, истинно женское или тёплое и человеческое – герой способен увидеть это почти в каждой женщине, и потому многие встреченные девушки мимоходом дарят ему ощущение неизмеримого жизненного богатства, щедрой красоты, бескорыстного милосердия, будь то цыганка Настя, «хохлушка» Шурка или евпаторийская проститутка Тина Капитонова, ставшая в отряде «красных» медсестрой: *«Они ещё ничего для меня не сделали, никем для меня не стали. Но все мои горести, весь этот камень под грудью вдруг рассосался, как в крутом кипятке камешек соли. Откуда во мне эта тихая радость? <...> Совсем другое – женщина. Так вот в чём её тайна!»* [с. 97].

Леська даже сознаётся в разговоре с Андроном, что не может не влюбляться чуть ли не в каждую встречную, на что старший собеседник реагирует весьма спокойно: *«Ну, это смолоду у всех так... Женишься – переменишься»* [с. 230]. И поучает племянника: *«Знаешь крымскую пословицу: “Хочешь жениться – езжай в Евпаторию”. Таких девушек, как у нас, и в Одессе не сыщешь, – на все вкусы: русские, хохлушки, гречанки, караимки, – и одна лучше другой»* [с. 231]. Этот разговор – вовсе не простое балагурство. В жизни Елисея не раз подтверждается простая житейская мудрость крымчан:

наши – это все, кто рядом с тобой живут, без различия наций и веры. В его восприятии неотъемлемой чертой родного города являются и «*древние старухи с Греческой улицы*» [с. 517], и собственная бабушка Евдокия с её тихим достоинством и естественной порядочностью (она наотрез отказывается переселиться из собственной уцелевшей после пожара бани в брошенную бежавшими соседями виллу, как предлагает «ревком» [с. 94]), и даже заносчивая соседка Розия, которая изводит Леську своей спесью («*Я хочу, чтоб ты понял наконец, кто ты и кто мы !*») [с. 26]), а потом оказывается, что тайно в него влюблена и ревнует к сестре Гульнаре.

Юная татарка Гульнара Булатова – самый поэтичный женский образ – полудетская Леськина любовь, живущая совсем рядом и неизмеримо далеко: она младшая дочь Сеид-бея Булатова, который готов сжить своих соседей со свету, лишь бы не видеть тёмного пятна их нищеты около своего богатства. В первом эпизоде с Гульнарой в роман даже вводится краткий экскурс о крымских татарах – их происхождении и антропологических различиях между степными и приморскими татарами [с. 15]. Но Гульнара для Леськи воплощает не просто экзотический женский «тип», а самую красоту мира и счастье жить в нём: «*Какое счастье, что у меня это есть. Вот эти звёзды, эти травы, эта задумчивая девушка, читающая стихи, эта тишина... Ведь этого никто другой сейчас не видит. Вижу я. Значит, это всё моё! Частица моей души, моей памяти навеки, моего счастья*» [с. 178]. Несмотря на пробудившуюся чувственность, для Елисея роднее всех девушек на свете море, воплощающее и историю, и живой дух родины: «*Леська бежал ему навстречу, забыв о Гульнаре, о Васене, даже о Шурке. <...> Вот он, милый, родной евпаторийский берег! Леська понёсся к воде, поймал в ладони пену, процедил её сквозь пальцы и с нежностью стал рассматривать крошечные, удивительно изящные овальные раковины, похожие на большие греческие амфоры. <...> Какое счастье жить на этом берегу...*» [с. 192]. Странно, что О. Резник увидел в романе «назойливые прожилки натурализма и литературщины», а любовные переживания героя посчитал «бесконечной и довольно однообразной вязью

“блиц”-романов» [10, с. 333]. Ведь даже мимолётные встречи для главного героя вовсе не развлечения, а открытия мира, нового – в каждой женщине.

Выводы. Роман И. Сельвинского «О, юность моя!» исключительно богат этноимагологическими характеристиками, их разнообразие явно не укладывается в стереотипы литературы советского времени, потому и не получило адекватной критической интерпретации. Исчерпывающий анализ этого материала в рамках одной статьи невозможен; отдельно следует рассмотреть практически не раскрытые в нашем анализе образы украинцев (особенно показателен аспект пренебрежения к ним как к «простонародью», проявляющийся у Сеид-бея Булатова) и русских (например, очень интересна семья Сизовых), немцев (семья колонистов Визау, особенно Гунда и Эдуард) и латышей (Марта), караимов (старички Синаи) и татар (Умер-бей и др.), ведь необходимо комментировать каждый эпизод и чуть ли не каждую страницу. Выбрав для сравнения характеристики главного героя и нескольких близких его друзей, видим особое, присущее только Сельвинскому, соотношение понятий «свой» – «чужой» (последнее соответствует понятию «враг революции»), а также «интеллигент» и «народ», «русский» и «еврей», «интернационалист» и «патриот» и т. д.

Этноидентичность И. Сельвинского в продолжение его жизни претерпевала существенные изменения, отразившиеся в автобиографическом романе. Будучи представителем маленького и почти уничтоженного к середине XX века народа крымчаков, поэт с уважением, искренним вниманием и теплотой относился ко всем народам и был предан идее интернационализма «глубоко и органично», усвоив её помимо партийных догм, понимая как мирное и солидарное сожительство конкретных людей, в которых умел показать богатство общей и различной культуры и характера. Во всём его творчестве, начиная с ранних стихов, национальные оттенки и нюансы языка ли, облика ли персонажей, их мировосприятия всегда ярки, сочны, любовно подчёркнуты и талантливо обыграны. В этом смысле роман «О, юность моя!» является итоговым: в нём находим целый букет этнических характеристик, ни одна из

которых не является свидетельством преимущества «старшего», «лучшего» народа и отрицает безликое «большинство». Несмотря на то, что роман отражает и типично советские стереотипы понимания истории и общества (неизбежность победы большевизма-ленинизма в русской революции, знак равенства между «золотопогонной сволочью» и «жизнью подонков» [с. 514], утверждение атеизма и интернационализма как естественных в новом человеке), в нём многое не стандартно, не стереотипно: от понимания опасности «полуинтеллигентщины» до утверждения рыцарства и женственности, национального и индивидуального, интеллигентного и человеческого как истинных ценностей.

Литература

1. Автобиография Ильи Сельвинского (май 1967) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.litera.ru/stixiya/articles/114.html> (29.11.2011).
2. Габермас Ю. Залучення іншого: Студії з політичної теорії / Юрген Габермас ; пер. з нім. Андрій Дахній ; наук. ред. Борис Поляруш. – Львів : Астролябія, 2006. – 416 с.
3. Илья Сельвинский // Лучшие русские поэты и стихи [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://er3ed.grz.ru/selwinsky.htm> (28.11.2011).
4. Катина В. «Каждый человек имеет право на туманный уголок души» (еврейская тема в жизни и творчестве Ильи Сельвинского) / Вера Катина // Матеріали конференції «Доля єврейських громад центральної та східної Європи в першій половині ХХ століття», Інститут юдаїки, Київ, 6-22 серпня 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.judaica.kiev.ua/Conference/Conf2003/46.htm> (28.11.2011).
5. Кристева Ю. Самі собі чужі / Юлія Кристева ; пер. з фр. Зоя Борисюк. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 262 с.
6. Крымчаки / Ачкинази Игорь Вениаминович [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.crimea.edu/crimea/etno/ethnos/crimchak> (04.12.2011).

7. К сорока годам его сломали : [интервью] / Мих. Бойко, Татьяна Сельвинская // НГ EX LIBRIS. – 2009. – 23.04. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://exlibris.ng/tendenc/2009-04-23/6_stlvinski.html (28.11.2011).
8. Левінас Е. Між нами. Дослідження думки-про-іншого : пер. з фр. / Еманюель Левінас ; передм. К. Сігов. – К. : Дух і Літера : Задруга, 1999. – 312 с. – (Б-ка ХХІ ст.).
9. О Сельвинском. Воспоминания / сост. Ц. А. Воскресенская, И. П. Сиротинская. – М. : Сов. писатель, 1982. – 400 с.
10. Резник О. Жизнь в поэзии. Творчество И. Сельвинского / О. Резник. – М. : Сов. писатель, 1981. – 528 с.
11. Русская литература ХХ века : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений : в 2 т. – Т. 2 : 1940-1990-е годы / Л. П. Кременцов, Л. Ф. Алексеева, Н. М. Малыгина и др. ; под ред. Л. П. Кременцова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Изд. центр «Академия», 2005. – 464 с.
12. Сельвинский И. Л. Избранные произведения : в 2 т. Т. 1 : Стихотворения. Поэмы / Илья Сельвинский ; сост. Ц. Воскресенской ; вступ. ст. Л. Озерова ; науч. подгот. текстов и коммент. И. Михайлова. – М. : Худож. лит., 1989. – 608 с.
13. Сельвинский И. О, юность моя! : роман / Илья Сельвинский. – М. : Сов. писатель, 1967. – 520 с.
14. Сельвинский Илья // Электронная еврейская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.eleven.co.il/article/13753> (28.11.2011).
15. Сельвинский, Илья Львович. Материал из Крымологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.krymology.info/index.php?title=Сельвинский,_Илья_Львович (28.11.2011).
16. Соловей Т. Пишайтесь, кримчани, своїм земляком! / Тамара Соловей // Кримська світлиця. – 2011. – 4 грудня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=9520> (04.12.2011).